

## Радикальная интеллигенция как побочный продукт университета Российской империи: опыт Казани

За более чем двухсотлетнюю историю существования российские университеты создали богатую агиографию собственной жизни. В соответствии с законами жанра, она строилась в опоре на мифы и тропы, изобиловала метафорами возникновения и перерождения. Это эффективный способ сохранения и передачи корпоративных ценностей и этических идеалов, но вера в объективность агиографической литературы лишает нас, исследователей, возможности понять и объяснить кризис, поразивший университетскую систему России в конце XIX – начале XX века. Именно этому посвящена данная статья. Анализ проводится на материалах архива и эго-документах Казанского императорского университета. Это старейший университет нашей страны, и идеальный для такой деконструкции, поскольку и по сей день он живет в исторической памяти России как колыбель вождя революции Владимира Ульянова-Ленина. Его опыт может быть рассмотрен как пример сложившейся в Российской империи культуры отношений Учитель-Ученик, породившей радикальные настроения в студенческой среде. Поскольку об идеальных отношениях профессоров и их воспитанников историки университетов писали много, и это не вопрос для обсуждения, я буду сознательно акцентировать внимание на негативе, то есть показывать сокрытое – изнанку университетских отношений.

В университетской системе изначально заложено внутреннее противоречие, основанное на дидактической, бюрократической, возрастной, культурной, символической и прочих видах власти преподавательского «меньшинства» над студенческим «большинством». В разных странах, в разные времена оно снимается или затеняется определенными ритуалами учебной повседневности. Идеальной для университета считается стратегия, направленная на повышение мотивации учащихся учиться и заниматься наукой. Однако реально всё зависит от социокультурных обстоятельств, в которые погружена жизнь конкретного университета, от научного потенциала его корпорации, социального статуса студенчества, от политики власти.

С одной стороны, российский университет жил коллегиальностью, с такими мягкими формами насилия, как договор или символическое принуждение (празднества, ритуалы, мифы). С другой стороны, преподаватель и студент входили в Табель о рангах, получали государственное содержание и чины и, в этом качестве, являлись частью бюрократической системы, со свойственной ей культурой отношений. Благодаря этому, в императорском университете утвердился и действовал двойной стандарт морали и поведения: один — для профессоров, другой — для студентов. И то, что было терпимо по отношению к преподавателю, каралось, если дело касалось воспитанников, которых в таких случаях рассматривали как подчиненных, а отнюдь не как коллег по научной корпорации. Это проявлялось и в «большом», и в «малом». Например, университетский архив первой четверти XIX века изобилует делами об отчислении студентов из университета, отдаче их в военную службу за нетрезвое поведение. Между тем, потребление алкоголя наставниками считалось лишь слабостью человека, а отнюдь не преступлением. Никого за это не увольняли и не наказывали.

Другой пример. Как правило, университетский педагог весьма ревностно и болезненно относился к проявлениям насилия над собой, к случаям давления, оскорбления самолюбия. Он требовал от коллег уважения чести и достоинства, готов был бороться за них на любом уровне. И при этом многие профессора, видимо, совершенно искренне полагали, что студенты — народ изначально порочный и ленивый, и заставить их учиться можно только под угрозой низкой оценки, плохого аттестата или свидетельства о поведении, а если не поможет — то карцера, ареста, увольнения, отдачи в рекруты и т. д. В результате в учебной и воспитательной практике отечественного университета широкое распространение получили бюрократическое и административное принуждение. В этом отношении российский профессор воспринимался наследником средневекового дидакта, покоряющего и обуздывающего порочную натуру юности.

Конечно, наряду с типом наставника-«укротителя», в университете XIX в. существовал тип профессора-«просветителя», заражающего учеников своей преданностью науке, подкупающего многогранностью личности. Такие ученые-идеалисты апеллировали к любознательности воспитанников, поддерживали и разжигали в них искру романтизма, стимулировали жажду познания, увлекали идеей служения Добру и Истине. Благодаря им, в университете жила традиция беззаветной преданности науке. При долговременной службе вокруг таких профессоров формировались целые «научные семьи», с разветвленной системой символических связей («научные сыновья и братья», «научные внуки»). За идеализм и преданность подвижники просветительства обретали бессмертие на страницах мемуаров благодарных учеников. А именно студенческие воспоминания сформировали современное идеализированное представление о профессоре императорского университета, о его предельно корректном и уважительном отношении к воспитанникам.

Реально же лицо университета зависело от соотношения в преподавательской корпорации «формалистов» и «патерналистов». Причем, при всей симпатии к последним, приходится признать, что и для тех, и для других студент был объектом учебного процесса, а не его участником. Такое воззрение

на воспитанников поддерживалось не только возрастной и функциональной дистанцией, но и убеждением современников в наличии определенной умственной и нравственной ущербности молодых людей, негласным признанием их частичной дееспособности. Поэтому регламентации подлежала не только сфера профессиональной социализации юношей, но и их повседневная жизнь в стенах университета.

Мы вынуждены констатировать, что в основе отношений дореволюционного профессора с его учеником лежала узаконенная правительственными документами и постановлениями профессорского совета дискриминация. А поскольку университетские преподаватели и администрация играли роль «агентов социального контроля» над студентами, то значительная часть заседаний профессорского совета была посвящена определению границы между нормой и девиацией в жизни воспитанников. Установленное же соотношение этих пространств зависело от доминировавшего типа культуры, от государственного заказа на университетскую продукцию и от социально-психологических параметров преподавательской корпорации.

В провинциальных университетах Российской империи данное соотношение чаще складывалось в пользу «формалистов». Поэтому бюрократические и административные методы воздействия на воспитанников использовались шире, чем в столицах. Это подтверждается свидетельствами различных источников. Например, в процессе расследования в 1856 г. дела о драке казанских студентов с офицерами один из осужденных в письменном показании описал неприглядную жизнь университетской корпорации. «Я нарисовал, — вспоминал он, — картину университетских угнетений, весь ужас перед бесполезным мусором тупых формальностей, кантонистской дисциплины, фарисейской набожности; описал деморализующее влияние тогдашнего университетского строя на 16- и 17-летних юношей, чуть не детей, становящихся студентами». Лист с данными показания был тут же уничтожен, а арестанту учтиво предложили переписать свои свидетельства при условии смягчения наказания. Интересно, что, впоследствии исключенный из Казанского университета, он был поражен вежливым обращением и заботливым отношением к студентам администрации Петербургского университета. На всю жизнь врезались в его память слова ректора П. А. Плетнева: «Помните, С-н, что во всяких трудных случаях вашей студенческой жизни и мои двери, и двери князя Щербатова всегда для вас открыты, и, пожалуйста, попросту, хоть днем, хоть вечером и, разумеется, в сюртуке [а не в мундире]»<sup>1</sup>. В этом свидетельстве можно было бы заподозрить пристрастность обиженного юноши, но вот другое заключение. Переехавший в 1880-е годы из Петербурга в Казань профессор Д. И. Дубяго признавался: «Я всегда сочувствовал нуждам студенчества, и везде оно бедно, болезненно и истощено силами; но, приехав в Казань, я был поражен в этом отношении... Отношения профессоров здесь к студентам не такие, к которым я привык, и, как мне кажется, не такие, чтобы соответствовать понятию об университете... Глубоко скорблю я, видя это. Ежовые рукавицы, в которых стиснуты студенты, делают свое дело: студенчество до поры молчит, но вдруг,

<sup>1</sup> С-н [Соковнин] Н. М. Воспоминания старого казанского студента, 1856–1858 // Русская старина. 1892. Май. С. 289.

как сдавленный пар, выскакивает иногда наружу, опрокидывая университетские преграды»<sup>2</sup>. Очевидно, специфичность корпоративных отношений в провинциальных университетах России обусловили следующие обстоятельства: во-первых, начиная с середины 1830-х годов, столичные школы вбирали в себя лучших преподавателей страны. Со всей империи в Московский и Петербургский университеты стекались люди, всю свою жизнь отдававшие науке и просвещению. Это были ученые, способные породить в учениках жажду знаний. Во-вторых, столичные университеты поддерживали более тесные, чем провинциальные школы, связи с европейскими коллегами, в том числе через научные стажировки магистрантов. При обсуждении отчетов о поездках профессорская корпорация усваивала положительный и негативный опыт университетской жизни Пруссии, Австрии, Британии и Франции. В-третьих, в столицах была выше, чем в провинции, культура бюрократических отношений. Чиновник столичной канцелярии был более защищен от произвола администрации, чем служащий провинции<sup>3</sup>. И даже в своем формализме университетская бюрократия столиц более уважительно относилась к личности и достоинству студента, чем их коллеги в провинции.

Вместе с тем, при наличии определенной специфики, университеты России проделали общую эволюцию в отношениях «профессор-студент». До 1820-х годов граница между нормой и девиацией для студентов не задавалась правительственными документами. Император говорил лишь о желании видеть среди подданных гармонично развитых, по-европейски образованных личностей. Это была эпоха снятой агрессии, воспевания гармонии, культы чувств и семейственности. Поэтому, с точки зрения современников, университетские воспитанники являлись младшими членами университетской семьи, и, вместе с тем, «послушниками» в «храме наук».

Понятие «отеческая забота» звучало в торжественных речах, в заседаниях университетского совета, было прописано в университетском уставе. Порицая формализм в исполнении педагогических обязанностей, члены Совета настаивали на том, чтобы «вменять преподавателям предотвращать худые поступки студентов отеческою попечительностью». От педагога требовалось внушить воспитанникам уважение к себе, поскольку «внутреннее в воспитанниках почтение к воспитателям своим есть первое и необходимое условие успешного нравственного образования»<sup>4</sup>. В университетской семье широко практиковались душевные беседы с провинившимся воспитанником. Первый директор университета И. Ф. Яковкин вызывал юношу в свой кабинет и вел с ним долгие нравоучительные беседы<sup>5</sup>. В трудных случаях университетская администрация обращалась к родителям своих воспитанников и совместным решением стремилась определить будущность студента, найти индивидуальный подход к нему. Дневник инспектора казеннокоштных студентов Ф. К. Броннера за 1814–1816 гг. наполнен описаниями внеаудиторных занятий воспитанни-

<sup>2</sup> Письмо Д. И. Дубяго к В. П. Энгельгардту за 1885 г. Из личного архива И. А. Дубяго.

<sup>3</sup> О бюрократической ментальности России XIX в. см.: Очерки русской культуры XIX века. Вып. 2.: Власть и культура. М., 2000.

<sup>4</sup> Национальный архив Республики Татарстан (НАРТ), ф. 977, оп. «Совет», д. 322, л. 20 об. – 21.

<sup>5</sup> Булич Н. Н. Из первых лет Казанского университета (1805–1819). Рассказы по архивным документам. Казань, 1887. Ч. 1.

ков, содержит изложение бесед наставника со студентами, его рекомендации для их работы над собой<sup>6</sup>.

Граница между дозволенным и запретным устанавливалась любовью и строгостью профессоров. Предполагалось, что «истинный» педагог определит, что можно и чего нельзя воспитаннику, исходя из здравого смысла, сердечной заботы и личного жизненного опыта. Учиться юноши понуждались не столько угрозами, сколько методами «обычного права» («так надо», «ты обязан», «так хотят твои родители»). Соответственно, заботу и властей, и педагогов составляли скорее мысли и внутренние побуждения молодых людей, чем их поступки. Проявлением явного приоритета воспитания перед научным образованием была и принятая тогда система оценок воспитанников. В первые годы существования университета учебные ведомости наполнялись психологическими характеристиками типа «отличен пред прочими», «благоденствен», «лучший из хороших», «очень хорош», «хорош», «гораздо лучше прежнего», «почти хорош», «не всегда хорош», «довольно худ», «неоднократно замечен в грубости и своеволии»<sup>7</sup>. Тесные контакты и различные формы коммуникации между преподавателями и учащимися тех лет соответствовали ориентации университета на развитие общих интеллектуальных способностей и личности воспитанников, а не на их исследовательские навыки.

Государственный заказ на выпускников, как и характер властных отношений в университетах, изменились к 1819 г.<sup>8</sup> «Европеец» (как идеализированный образ) перестал быть воспитательным идеалом российской власти. Он проявил себя не с лучшей стороны в наполеоновских войнах и в охвативших посленаполеоновскую Европу революциях. А после карлсбадского совещания<sup>9</sup> оказалось, что России вряд ли стоит доверять системе обучения и воспитания, применяемой в немецких университетах. В этом контексте российская власть предпочла получать из отечественных школ всех уровней благочестивых и верноподданных чиновников-специалистов. Правда, идеология семейственности сохранилась, но не в качестве содержания, а, скорее, как желаемая форма социальных отношений. Такая установка пронизывала правительственные документы не только конца царствования Александра I, но и всего николаевского правления.

Вместе с тем, данный период в истории России был временем активного бюрократического творчества, в том числе формализации университетской жизни, жесткого регулирования отношений всех со всеми. Именно тогда создается общеуниверситетский устав 1835 г., разрабатываются инструкции директору университета, его ректору, инспектору казеннокоштных студентов, определяются правила поведения воспитанников, вырабатываются учебные планы, утверждаются конспекты лекций и прочая регламентирующая университетскую жизнь документация.

<sup>6</sup> Дневник и переписка профессора Ф. К. Броннера (1810–1817) // *Нагуевский Д. И.* Профессор Франц Ксаверий Броннер, его дневник и переписка (1758–1850). Казань, 1902. С. 1–190.

<sup>7</sup> НАРТ, ф. 87, оп. 1, д. 8512, л. 14.

<sup>8</sup> *Flynn J. T.* The University Reform of Tsar Alexander I. 1802–1835. Washington, 1988.

<sup>9</sup> Совещание представителей немецких государств, Австрии и Пруссии 1818 г., принявших меры для борьбы со студенческими беспорядками в этих странах.

С введением этих положений в действие российский университет обрёл ярко выраженную национальную физиономию. И это сказалось не столько на кадрах и идеологии, сколько на системе отношений преподавателей и студентов. В отличие от университетской традиции Европы, в России учебные планы (т. е. набор изучаемых дисциплин, их распределение по годам обучения) были жестко фиксированными. За студентами не признавалось право выбора преподавателя, срока обучения, курсов лекций, формы занятий и т. д. Однажды записавшийся на тот или иной факультет юноша имел мало шансов изменить свое решение. Он не мог отказаться от неинтересных занятий, сменить слабого преподавателя и не был защищен от произвола педагога или университетской администрации. Посещение всех указанных в расписании занятий было обязательным, их пропуск карался тщательно разработанной системой наказаний. В результате университетское образование становилось не итогом добровольного выбора учебных курсов, а рассматривалось современниками, как отработываемая повинность для получения бюрократического документа — аттестата. В этой ситуации многие пришедшие в «храм науки» к «жрецам истины» «футурусы» переживали разочарование. И оно оказывалось тем сильнее, чем выше были ожидания.

Утверждению формализма, бюрократизации университетских отношений способствовало решение правительства ввести в университетскую корпорацию людей «извне» — кадровых военных. Именно из них набирались в университет инспектор студентов и его помощники. Кандидатура инспектора студентов предлагалась попечителем, а утверждалась министром. И хотя устав декларировал, что эту должность может занять не только военный, но и гражданский чиновник стороннего ведомства, реально кандидатуры гражданских чиновников не получали утверждения в Петербурге.

Инспектор и его помощники выполняли в университетской семье контрольно-полицейские функции. Они отвечали за порядок в помещениях, посещали места пребывания студентов, водили их в баню и на концерты, следили за их частными квартирами, поддерживали связь с городской полицией, нанимали и увольняли университетскую прислугу, следили за чистотой студенческой формы и качеством еды в столовой, за посещением занятий учащимися. И, вместе с тем, инспектора следили за проведением лекций преподавателями. Уставные документы подчеркивали высокий статус данной должности в университете. По своему положению, чинам и жалованию инспектор был приравнен к ординарному профессору и введен в коллегиальные органы университетского самоуправления — профессорский совет и правление. Инспектор отвечал за нравственность воспитанников и должен был «требовать от учащихся безусловного повиновения властям, основанного не столько на присяге каждого верноподданного, но и на сознании той отеческой заботливости, тех щедрых благодеяний, коих они суть предметы»<sup>10</sup>. Так говорилось в инструкции.

Университетская инспекция обладала широкими карательными возможностями. Она могла «увещевать и делать выговоры», арестовывать, сажать в карцер на хлеб и воду, своекоштных воспитанников исключать из универ-

<sup>10</sup> Российский государственный исторический архив (РГИА), ф. 733, оп. 41, д. 199, л. 42.

ситета, казеннокоштных отдавать в военную службу, могла запретить переход студента на следующий курс, отменить его награждение медалью, выдачу ему благотворительной стипендии, могла отказать в казенном содержании и многое другое. В результате усиления власти инспектора и попечителя преподаватель и студент оказались «по разные стороны баррикад».

Патернализм в отношении университетской администрации к студентам в Казанском университете сохранялся до середины 1840-х годов, пока им управляли Н. И. Лобачевский и М. Н. Мусин-Пушкин. Очевидно, это была личная позиция людей, сформировавшихся в Александровскую эпоху и воспроизводивших ее стиль и принципы. Их покровительство, отеческая забота нивелировали и смягчали нарастающий процесс бюрократизации университетской жизни. Но чем дальше, тем более давала о себе знать новая ситуация.

В 1845 г. ушел с поста ректора Лобачевский, уехал из Казани Мусин-Пушкин, пришел более рьяный инспектор студентов, и атмосфера семьи оказалась утраченной. По инструкции инспектору предписывалось участвовать во всех ситуациях общения профессора со студентом. И, как следствие, в отношениях профессоров со студентами стала всё чаще проявляться конфронтация. Это отразилось, в том числе, в утвердившихся тогда университетских ритуалах: студентов вводил в аудиторию инспектор, они рассаживались на скамьях, преподаватель входил и садился напротив них на возвышение («на кафедру»). А на экзамене студент стоял перед столом, за которым судьями сидели лектор, ректор и попечитель.

Сама проверка студенческих знаний стала восприниматься в университетской среде, как инквизиция, расплата за грехи. И если ранее была естественной ситуация, когда на экзамене педагог брался объяснять воспитаннику недопонятую им тему, то ныне сессия превратилась в угрозу, в наказание за пропущенные лекции, за непочтительное отношение к преподавателю, за нарушение предписаний инспектора, за плохо составленные конспекты. И далеко не всегда так вели себя только слабые преподаватели. Студенты боялись экзаменов Н. А. Иванова, И. А. Больцани, К. К. Клауса. Преподавателей же, которые относились к экзамену, как к штатной процедуре, мало влияющей на развитие личности ученого, стали именовать «либералами», подозревали в равнодушии к службе.

Студенты все явственнее оттеснялись в категорию «пасынков» университетской семьи. Но попрание достоинства «младших» оказалось чревато негативными последствиями для «старших». Оно разрушило семейность университетских отношений и сделало ущербной университетскую демократию.

В те годы на занятиях преподаватель зачитывал студентам конспект, транслировал готовое знание. Его качество могли оценить члены корпорации, попечитель или министр, но не слушатель. В отличие от европейского собрата, российский студент платил не за лекции конкретного профессора, а оплачивал весь университетский курс обучения. Тем самым он был «избавлен» от выбора педагога. Слушатель был исключен из профессиональной экспертизы, соответственно, российского профессора не интересовала его реакция на учебный материал. В свою очередь, это обстоятельство лишило лектора стимула совершенствовать профессиональное мастерство, способствовало снижению уровня университетского преподавания и, как следствие, привело к атрофиро-

ванию механизмов самоочищения университетской корпорации. В университетской среде стали терпимы люди, не способные к научной и преподавательской деятельности. Вспоминая о Казанском университете начала 1850-х годов, П. Боборыкин признавался, что «профессора стояли от нас далеко, за исключением очень немногих. По-нынешнему, иные были бы сейчас же “бойкотированы”, так они плохо читали»<sup>11</sup>. Это признавали не только подневольные студенты, но вынужденно констатировали и правительственные чиновники<sup>12</sup>.

Но даже когда в Уставе 1863 г. власти признали необходимым поднять научный и учебный уровень университетов, это делалось как угодно (привлечение внештатных сотрудников, увеличение жалования и финансирования науки, научные стажировки за границу), но только не за счет изменения «функциональной дистанции» между педагогами и их учениками. Студент остался объектом учебного процесса, а не его участником. Во всех казусах университетской жизни прав был старший, т. е. преподаватель. Совместным творчеством правительственных и университетских чиновников в инструктивных текстах создавалась допустимая для студентов модель поведения в университете и вне его, задавалась исповедуемая ими система ценностей, очерчивалась желаемая сфера общения, описывался требуемый от них стиль, качество и ритм жизни.

Данные тексты прочертили границу между нормой и девиацией, т. е. поведением, подлежащим пресечению. Но грань эта была весьма подвижной. Так, в начале XIX в. пьянство не фигурирует в нормативных текстах. Оно появляется в них в 1820-е годы. Разъясняя свою позицию в этом вопросе, попечитель Магницкий писал: «порок пьянства есть действие более обдуманное, нежели обыкновенный проступок юношества», а потому «оно должно быть преследуемо в заведениях публичного воспитания весьма строго»<sup>13</sup>. В 1830–1850-е годы девиантная сфера стала чрезвычайно широкой. К ней были отнесены не только преступления, проступки и конфликты, но и ношение студентами «серых» брюк, зонтиков, тростей, бакенбардов, усов, обладание курительными трубками и самоварами<sup>14</sup>. И, коль скоро область девиации столь расширилась, то обширным и дифференцированным стал список наказаний, а также сама возможность осуждения и «клеймения».

Но стигмация, или процесс наклеивания ярлыков, чреват для самих контролеров «девиантным преувеличением». Материалы университетских архивов дают массу тому подтверждений. В конце 1850-х годов студенты еще не исповедовали политических идей. Многие мемуаристы свидетельствуют о 1840-х годах: «Все студенты того времени политикой вовсе не занимались, газет не читали, да их и негде было взять»<sup>15</sup>. О середине 1850-х годов П. Д. Боборыкин сообщал: «Никаких кружков, землячеств, собраний, сходок, и не потому только, что это было неосуществимо... Не назрел “дух” ни в обществен-

<sup>11</sup> Боборыкин П. Д. За полвека: Из воспоминаний. М., 2002. С. 74.

<sup>12</sup> Общий устав императорских российских университетов. 18 июня 1863 // Сборник постановлений по Министерству народного просвещения. Т. 3: Царствование императора Александра III. 1855–1864. 2-е изд. СПб., 1876. С. 1090.

<sup>13</sup> НАРТ, ф. 977, оп. «Инспектор студентов», д. 9, л. 2.

<sup>14</sup> РГИА, ф. 733, оп. 44, д. 26, л. 10.

<sup>15</sup> Янишевский Э. П. Из воспоминаний старого казанского студента. С. 59.

ном смысле, ни в чисто университетском... Политическое чувство настолько еще дремало, что и такой оборот судьбы, как смерть Николая, не вызвал на первых порах никакого особенного душевного подъема»<sup>16</sup>. Тогда их больше волновали проблемы физического выживания и социального утверждения. Первое студенческое волнение в Казани произошло зимой 1849 г. из-за столкновения студентов с полицейскими — вещь в университетской истории рядовая. Сам попечитель вынужден был признать, что причиной были «некоторые неуместные угрозы, употребленные квартальным надзирателем». Но администрация университета отнеслась к инциденту со всей строгостью. Раскрученное по спирали преувеличений следствие привело к массовым исключениям студентов и наказанием карцером. В расследовании инцидента участвовали представители III Отделения и флигель-адъютант императора. По аналогичному сценарию развивалось следствие по факту столкновения студентов с офицерами<sup>17</sup>. Правительство и университетская администрация были полны подозрений относительно политической неблагонадежности студентов. В любом их отступлении от предписаний они видели преступление против политических устоев, кровавую тень революции. Эта подозрительность росла с каждым новым сообщением о шалостях университетских воспитанников. Она высказывалась вслух, выплескивалась в виде непомерно жестких наказаний, постоянных проверок, назидательных речей. Им буквально навязывалась мысль о том, что они повесы и бунтовщики.

В результате в университетах не осталось воспитанников, которые когда-либо не подвергались бы осуждению и наказанию. Признанные испорченными и неблагодарными, университетские юноши, по крайней мере часть из них, становились таковыми. Это закон «сопротивительного», или защитного, поведения. Не случайно, сосланные в Казанский университет как неблагонадежные или за нарушение предписаний студенты из Вильно, Дерпта, Киева, Петербурга и Москвы становились здесь первыми «возмутителями порядка». Негативный ярлык воздействовал на самовосприятие личности, на развитие в ней соответствующей идентичности и ее будущего.

Политика властей по отношению к студентам, молчаливое согласие с ней преподавателей, а также спровоцированная ими общественная реакция приводили к процветанию в студенческой среде девиантной субкультуры. Собственно, она генетически была присуща университету. Традиции буршей, шутовских ритуалов, творчества вагантов жили в любом месте и любом времени, где были студенты. Но примечательно, что всплеск питейных настроений, «кутежно-повеснической» жизни пришелся на период наиболее жесткого контроля и суровых наказаний 1830–1850-х годов. Несмотря на все табу и угрозы, студенты прорывались в трактиры, публичные и кофейные дома, устраивали застолья на квартирах и «на природе». Ночные улицы университетских городов оглашались криками и песнями пьяных юношей в студенческой форме. Очевидно, пьянство, разгул и «питейные» песни были формой сопротивления дидактическому и административному насилию, карнавалом, пародирующим университетскую жизнь.

<sup>16</sup> Боборыкин П. Д. За полвека. Из воспоминаний. С. 74, 82.

<sup>17</sup> РГИА, ф. 733, оп. 45, д. 104, л. 10.

Примечательно, что о временах строжайших правил и наказаний современники писали: «В сущности, инспекторский надзор с его “субами”, которых в грош не ставили, не проникал вглубь студенческой жизни. Домашнего соглашения не было, и под внешней подтянутостью держались довольно-таки дикие нравы — пьянство, буйство, половая распущенность. И посещение лекций не состояло ни под чьим контролем. Были круглые лентяи, по полугодиям не ходившие на лекции, никаких записываний субами не водилось, ни переключек, ни отметок»<sup>18</sup>.

Разочарованный в своей мечте об университете, автор высказывания, конечно, утрировал ситуацию. Но правда заключалась в том, что административный контроль имел своей сферой, главным образом, форму студенческой жизни, а не ее содержание. При всем желании инспектор не мог проникнуть в души и мысли подопечных, не ведал, что творится в их головах. Это могли сделать и делали немногие педагоги-подвижники. Большинство же преподавателей студентами не интересовались, отчитывая за кафедрой положенные часы. Таким образом, сняв с себя заботу о душах воспитанников, университетская администрация оставила за собой право наказания.

В такой ситуации студенты усвоили психологию подневольных людей и воспроизводили в отношениях с преподавателями стиль казарменного поведения. Молодые люди, записанные в университет, употребляли огромную энергию и неординарную смекалку на то, чтобы избежать посещения занятий, сорвать их, не выполнить полученные от педагогов задания, обмануть экзаменатора.

История показывает, что политика «закручивания гаек» была малоэффективна. Усиление административно-бюрократического принуждения студентов к учебе, также как преподавателей к служению давало лишь один результат — лишало их естественной мотивации. В результате тому, кто пришел в университет с мечтой о науке и мудрости, контроль и принуждение только мешали, они раздражали и в конце-концов порождали разочарование в сделанном выборе. Тем же, у кого изначально не было желания учиться, инспекторский надзор не придал стимулов.

Формы студенческого сопротивления интеллектуальному принуждению имеют столь же богатую историю, как сама система воспитания и обучения. Многие из них сохранились до наших дней, продемонстрировав свою живучесть и действенность в любых исторических условиях. «Мною заперт в карцер студент Филарет Базилев..., — сообщал Совету инспектор, — за то, что обманул профессора Томаса, пришедшего читать лекции, сказав, что он опоздал (это, однако, была ложь, так как едва пробило 8 часов) и что все студенты уже разошлись (между тем, как на самом деле никто еще не приходил)»<sup>19</sup>. Юноши изобретали замысловатые способы, чтобы избежать или облегчить экзамен. Успешный опыт передавался в наследство следующим поколениям. Наследники его продуцировали и совершенствовали. Несмотря на то, что студенты-юристы обожали своего кумира профессора Д. И. Мейера, когда он

<sup>18</sup> *Боборыкин П.* За полвека: Из воспоминаний. С. 60–61.

<sup>19</sup> *Дневник и переписка профессора Ф. К. Броннера (1810–1817) // Назуевский Д. И.* Профессор Франц Ксаверий Броннер... С. 182.

пригласил студента, отличавшегося каллиграфическим почерком, переписать билеты, они не преминули этим воспользоваться. «Все тотчас же припомнили известный фокус, зачастую практиковавшийся при экзаменах..., то есть разыскали бумагу с одной стороны гляцевитую, с другой шероховатую, и на этой то шероховатой стороне написали все головомные вопросы из гражданского права, которых мы боялись, как огня», — вспоминал Н. П. Загоскин<sup>20</sup>.

Соппротивление студентов власти преподавателя проявлялось, в том числе, в их стремлении «принизить» его. Поэтому жившие в стенах университета юноши, хорошо осведомленные о слабостях воспитателей, были не прочь позлословить на счет их отношений, личной жизни, внешности, манеры общения, костюма и пр. Это не всегда и не со всеми сходило с рук. Например, профессор Броннер, узнав о том, что вновь поступивший в университет гимназист распространяет слухи, что дал ему взятку в 2000 рублей, потребовал от лгуна публичного покаяния и извинений.<sup>21</sup> Они успешно пользовались противоречиями в профессорской среде. Э. П. Янишевский вспоминал, как во время занятий в аудитории профессора Винтера слушатели разыграли следуюшую сцену. Зная о вражде лектора с профессором Фатером и о его вечном страхе за конспект лекций, один из студентов потянулся за заветной тетрадью, а остальные закричали: «Это не наш! Это студент профессора Фатера!». В результате на глазах довольных зрителей разыгралась бурная сцена выяснения отношений двух педагогов. Цель была достигнута — занятие сорвано<sup>22</sup>. И целый пласт студенческого фольклора направлен на смеховое снижение образа преподавателя. Обстановка плотной опеки, вечных наказаний и их угрозы провоцировала защитную агрессию<sup>23</sup>, которая не сдерживалась, как в Александровскую эпоху, почитанием учителей, их моральным авторитетом, чувством благодарности к ним.

Особенно очевидными изменения в социальной психологии студентов стали в период общего демократического подъема, начавшегося на рубеже 1850—1860-х годов. Все общество было проникнуто оппозиционными настроениями, бурлило ожиданием грядущих грандиозных перемен. И студенты, согласно возрастным особенностям и социальному положению, впитывали самые радикальные их проявления. Многие менялось в университетской жизни буквально на глазах: была отменена форма, запрещен карцер, введен студенческий суд, появилась «курительная» комната, окрепли землячества.

В те годы на историко-филологическом факультете Казанского университета преподавали два старых немца, профессора греческой и римской словесности. Один плохо, а другой и вовсе не говорил по-русски, оба читали лекции «по тетрадам». Раньше воспитанники благополучно игнорировали их занятия. Теперь же студенты попросили «старцев» оставить занимаемые кафедры. Оба профессора были обескуражены, но один тут же согласился, а другой с возмущением отказался. На первом же занятии он был освистан собравшимися

<sup>20</sup> Воспоминания о Д. И. Мейере и др. // Былое из университетской жизни. СПб., 1904. С. 67.

<sup>21</sup> Дневник и переписка профессора Ф. К. Броннера (1810—1817) // *Нагуевский Д. И.* Профессор Франц Ксаверий Броннер... С. 55.

<sup>22</sup> *Янишевский Э. П.* Из воспоминаний старого казанского студента. С. 41—42.

<sup>23</sup> РГИА, ф. 733, оп. 47, д. 74, л. 14.

в его аудиторию слушателями<sup>24</sup>. Таким же образом «бойкотировались» лекции Л. Г. Лукашевского, зачитывавшего студентам «перечни всех существующих изданий» по всеобщей истории. Получив недвусмысленный намек, лектор счел за благо добровольно уйти из университета<sup>25</sup>. Студенты-медики изгнали профессора В. Ф. Берви. Каждый такой инцидент порождал дознание и увольнение зачинщиков из университета. Держа круговую поруку, студенты выдавали парочку «жертв», готовых безболезненно уйти из *alma mater*. Оставшиеся же в стенах университета воспитанники проявляли всё большее желание регулировать его жизнь и потому заботились найти себе достойных преподавателей.

Между тем, история тех лет показала, что активность студентов была способна оживить жизнь университета, оказать стимулирующее воздействие на преподавательскую корпорацию. Откликаясь на запросы студентов, сам ректор просил опального Костомарова занять кафедру русских древностей в Казанском университете. Правда, правительство не дало «добро» на такое назначение<sup>26</sup>. Из университета вынужденно уходили не соответствовавшие его назначению преподаватели, в нем появились молодые и талантливые лекторы, в учебный курс вводились студенческие диспуты, практические и семинарские занятия. Негативным же следствием студенческого вмешательства в учебный процесс стал популизм некоторых, особенно начинающих, преподавателей. Так случилось с безусловно ярким и талантливым ученым, выпускником Казанской духовной академии А. П. Шаповым. Случай, когда университетские профессора читали какие-либо курсы в Духовной академии, были привычными для Казани, но чтобы академический лектор пришел в университетскую аудиторию — такого прецедента еще не было. Потому студенты были настроены против «клерикала». Желая переломить негативное настроение студенческой аудитории, Шапов прочитал программную лекцию в духе идей демократической оппозиции. Лекция закончилась шквалом аплодисментов. Но ожиданиям слушателей надо было соответствовать и дальше. И потому как ученый и педагог он попал в жесткую зависимость от студентов<sup>27</sup>.

Чиновники же от просвещения так и не признали в студентах субъектов университетской жизни. В 1863 г. им было запрещено выражать свое одобрение или неодобрение лекции аплодисментами, шиканием, свистом, подавать прошения о приглашении в университет тех или иных ученых, посылать петиции с требованием отстранить бездарных лекторов.

Подпитанная гетеродоксальными учениями (нигилизм, народничество, почвенничество, марксизм), получившими широкое распространение в университетской среде, девиантная субкультура российского студенчества эволюционировала в сторону радикализма. Ее восприимчивость к этим течениям обуславливалась серьезными изменениями социального порядка. У многих современников реформы породили катастрофическое мышление. Далеко не все люди и социальные группы смогли быстро приспособиться к проис-

<sup>24</sup> См.: Л. О. [Лаврский К. В.] Воспоминания о профессорах и студентах в начале 1860-х годов // Былое из университетской жизни. С. 220–222.

<sup>25</sup> См.: Овсянников А. И. Из воспоминаний старого педагога // Русская старина. 1899. Июнь. С. 692.

<sup>26</sup> РГИА, ф. 733, оп. 47, д. 199.

<sup>27</sup> Вульфсон Г. Н. Глашатай свободы. Казань, 1984.

ходящему. Многие студенты оказались среди тех, у кого произошло крушение социальных ожиданий. Как следствие, среди студентов распространился суицид. Причем среди самоубийц почти не было романтиков, скорее это были разочарованные в жизни или загнанные в угол люди. В архиве Казанского университета отложилась переписка по поводу самоубийства студентов Н. Леушина, В. А. Обрезкова, Н. Демидова, Брюно, Владимирова, Е. Бибикова<sup>28</sup>. Их решение свести счеты с жизнью вызывало сочувствие у студентов. Самоубийство на почве любви было осуждено казанскими студентами. Сокурсники обвинили погибшего в безнравственности<sup>29</sup>. Уважительным поводом к суициду считались идеи, невозможность мириться с «гнусной» действительностью, нищета<sup>30</sup>.

В 1861 г. во всех университетах империи прошли сходки в защиту студентов Петербургского и Московского университетов. Тем самым студенчество встало в оппозицию не только к местной университетской администрации, но заняло оборону по отношению к власти верховной. С течением времени эта конфронтация, согласно логике «осажденного города», усугублялась и нарастала. В этом контексте Казанский университет стал частью большой «университетской проблемы» Российской империи. Местная администрация считала, что «главным поводом к замешательствам и беспорядкам, нарушавших неоднократно спокойствие университетского преподавания и доходивших в последнее время до крайних пределов, были невыясненные и не установленные отношения и студентов и вообще слушателей университетских лекций к целям и порядку университетского преподавания, а также к самой корпорации преподавателей университета».<sup>31</sup>

Получив по Уставу 1863 г. возможность решать, избирать ли инспектора из собственной среды или приглашать на службу военного чиновника, казанская корпорация избрала проректора. Но вернуться к гармоничным отношениям со студентами ей не удалось. Молодые люди, казалось, сознательно обостряли отношения с профессорами и университетской администрацией, выражая свой протест в самых радикальных формах. Учившийся в конце 1870-х годов Н. И. Тезяков вспоминал эпизод, когда на заседании Общества археологии его председатель, попечитель округа П. Д. Шестаков призвал воспитанников участвовать в его работе. В ответ на это один из студентов заявил, что «вместо археологии, науки нам не нужной, следовало бы студенческую молодежь звать к живому делу, к делу помощи народу, невежественному и голодающему, а средства, которые общество тратит на археологию, отдать голодающим студентам»<sup>32</sup>. Это выступление было явно провокационным. И поскольку выступавшего исключили, университет получил студенческую сходку. К 1882 г. относится на шумевшая в Казани история Воронцова, студента, давшего пощечину проректору за лишение его стипендии<sup>33</sup>. Далее

<sup>28</sup> НАРТ, ф. 977, оп. «Совет», д. 8918; 9887; ф. 92, оп. 1, д. 15403

<sup>29</sup> Чириков Е. Был ли он прав? // Волжский вестник. 1887. 18 окт. С. 1–2.

<sup>30</sup> НАРТ, ф. 977, оп. «Совет», д. 8918, л. 3–4.

<sup>31</sup> НАРТ, ф. 1, оп. 2, д. 1675, л. 208.

<sup>32</sup> Тезяков Н. И. Из пережитого. Студенческие годы // Казанский медицинский журнал. 1930. № 5/6. С. 499.

<sup>33</sup> Тезяков Н. И. Из пережитого. Студенческие годы. С. 500.

эта форма оскорбления и вызова становится обыденной практикой студенческих возмущений.

Поскольку правительство Александра III считало либеральный курс предшествовавшего царствования губительным для страны, принятый в 1884 г. университетский устав вернул многие нормы николаевской эпохи. Должность проректора была отменена, инспектор студентов стал вновь назначаться министром по представлению попечителя<sup>34</sup>.

Всё это не остановило волны студенческих сходок. В 1887 г. профессор Д. И. Дубяго писал В. П. Энгельгардту в Германию: «Московские беспорядки естественно отразились и здесь. Образовалась сходка в университете, проникшая, несмотря на сопротивление, в актовЫй зал. Здесь, когда явился инспектор для уговаривания, ему дали пощечину»<sup>35</sup>. Студенческий бунт сопровождался аномией, т. е. состоянием слабого консенсуса с противостоящей стороной, недостатком веры в ценности и цели, предложенные университетскими преподавателями.

У современников противостояние порождало ощущение кризиса университетской системы, тупика ее развития. Потеряв контроль над студентами, ощущая свое бессилие, университетская администрация стала пассивным наблюдателем событий, разворачивавшихся согласно логике ускорения. Выпускник 1890-х годов М. В. Танский вспоминал: «Существовал в университете и инспектор студентов Альбрехт с помощником своим субинспектором Виноградовым и двумя педелями — вот и вся внутренняя университетская полиция больше чем над восьмистами молодыми буйными головами. Семь лет учебы провел я в университете, а инспектора так и не знал в лицо»<sup>36</sup>. «Студенческие беспорядки меня очень беспокоят. Все думаю о Казанском университете, с которым сроднился. По всей вероятности, и у Вас существует брожение... Неужели проклятые нигилисты опять начали действовать? Неужели возобновятся ужасные времена конца царствования Александра II? Очень жаль мне Боголепова [министр просвещения], а теперь стреляли в Победоносцева [обер-прокурора Синода]...»<sup>37</sup>, — писал в Казань Энгельгардт.

Конечно, во все времена в студенческой среде преобладали те, кто искал самоутверждения в знаниях и науке, кто стремился обзавестись интеллектуальным капиталом. Но не они задавали тон в университетской жизни конца столетия. В 1899–1902 гг. студенческие стачки потрясли все российские университеты. Правительство и университетская администрация слабо справлялись с управлением и контролем над университетскими отношениями. Пытаясь вернуть атмосферу начала XIX в., министр П. С. Ванновский призывал университетских людей к «сближению учащихся с их начальством»<sup>38</sup>. Но в условиях

<sup>34</sup> Устав императорских российских университетов // Сборник постановлений по Министерству народного просвещения. Т.7: Царствование императора Александра III. С. 999.

<sup>35</sup> Письмо Д. И. Дубяго к В. П. Энгельгардту за 1887 г. (Из личного архива И. А. Дубяго).

<sup>36</sup> *Танский М. В.* Казанский университет в 1890-е гг. девятнадцатого века // ОРПК НБЛ, ед. хр. 8035, л. 4.

<sup>37</sup> Письмо Д. И. Дубяго к В. П. Энгельгардту за 1887 г. (Из личного архива И. А. Дубяго).

<sup>38</sup> *Иванов А. Е.* Университетская политика самодержавия накануне первой русской революции: Автореф. дис.... канд. ист. наук. М., 1975; *он же.* Университетская политика самодержавия в конце XIX — начале XX в. // Государственное руководство высшей школой в дореволюци-

наступившего века агрессивной культуры призывы к семейственности в университетских отношениях остались «гласом вопиющего в пустыне».

Взращенное десятилетиями функциональное и культурное противостояние обернулось для университета деструктивным конфликтом. Получив его, преподавательская корпорация выглядела растерянной и расколотой перед лицом студенческой агрессии. Во-первых, часть профессоров и доцентов либо по политическим убеждениям, либо из оппозиции к коллегам сочувствовала радикально настроенным студентам и тайно или явно поддерживала их возмущения. Во-вторых, большая часть профессуры старалась оградиться от политики, спасала себя в мире науки. Им оставалось лишь надеяться на лучшее будущее. Возмущаясь нынешними воспитанниками, их наставники успокаивали себя тем, что «уродствует только меньшинство, которое вместо того, чтобы учиться, делает безобразие»<sup>39</sup>. Конечно, студенты не были едиными. Политические игры захватили далеко не всех. Но сходки, петиции, протесты лихорадили университетскую жизнь и парализовывали учебную повседневность. Учиться в эти годы было трудно даже тем, кто пришел сюда осознанно, в надежде стать ученым или специалистом.

В этой ситуации зарубежные коллеги с сочувствием писали российским профессорам: «Как жаль, что у вашей студенческой молодежи такое вредное направление. Все занимаются политикой, а не учением! Здесь [в Германии] студенты тоже мало учатся, но зато политикою никогда не занимались и не занимаются — пьют много, дерутся на рапирах, устраивают торжественные процессии в шутовских костюмах. Всё это безвредно, не то, что политика и нигилизм»<sup>40</sup>.

онной России и СССР. М., 1979; *он же*. Студенчество России конца XIX — начала XX в.: Социально-историческая судьба. М., 1999. С. 250—253.

<sup>39</sup> Письмо В. П. Энгельгардта Д. И. Дубяго за 1904 г. (Из личного архива И. А. Дубяго).

<sup>40</sup> Письмо В. П. Энгельгардта к Д. И. Дубяго за 1887 г. (Из личного архива И. А. Дубяго).